

## Владимир Янкелевич «Осколки»

*Я в жизни ничего не понимаю —  
запутана, изменчива, темна,  
но рюмку ежедневно поднимаю  
за то, чтобы продолжилась она*

Я как-то неожиданно для себя стал всё чаще возвращаться в прошедшие годы. Вернее не я стал возвращаться, а память вдруг, как-то сама по себе, подбрасывает совершенно неожиданно казалось уже давным-давно забытое. «Но когда по ночам бессонница...», а она, к сожалению, стала постоянной спутницей, «мне на память приходит» не что-то цельное, а так, осколки прошлого. Иногда — это странный сон из далекого детства, а иногда просто мысли убегают в прошлое, не то, чтобы с сожалением — эх, не так нужно было сделать — а вроде смотришь фильм о собственной жизни...

### І. Баку

Самое раннее воспоминание относится, как мне кажется, к возрасту лет четырех. Мне тогда прочитали небольшую статью «Девочка, которую продали». Смысл её был такой, что в мире, где не подарили детям «счастливое детство» родители были вынуждены продать свою дочь. — Как это продали?! Разве детей продают?! — Впечатление было очень сильное. Настолько, что я тогда многократно видел повторяющийся сон, в котором продали меня. Уже продали, вот-вот должны прийти покупатели, и мама привязывает меня во дворе за руку к двери... Покупатели во сне не приходили, но я стоял и плакал, привязанный к двери в ожидании покупателя... Почему это вспоминается сейчас? Кто знает...



Этого я не помню, всё-таки еще нет и года. На заднем плане музей Низами. А справа — этот музей сегодня

Жили мы в старом одноэтажном бакинском доме, где все квартиры выходили во внутренний квадратный двор. Он был просто огромным, целый мир, где мы играли в прятки, а когда стали постарше, то в настольный теннис. Спустя лет сорок я там побывал. До чего же он уменьшился, наш огромный двор. Где тут можно было прятаться? А тогда в этом дворе бурлила наша жизнь, кипучая, как у всех детей.

Во дворе у дверей квартир стояли деревянные ящики, лари, на которых спали в жаркие летние ночи. В противоположном углу двора храпел Андроник, мне казалось, что его храп слышен примерно улицы на три. ...

А еще вдруг вернулся сон, как «я от бабушки ушел». Бабушка, мама отца, Мария, жила недалеко, в еврейском районе, рядом синагогой на ул. Кецховели. (Был такой соратник «великого вождя», занимавшийся революцией, организовавший подпольную типографию в Баку; там же, в тюремной камере, и завершивший свою революционную деятельность. Сейчас такой улицы уже нет, Шамиль Азизбеков независимому Азербайджану подходит больше).



Родные пенаты. Фото Сергея Саркисяна, и дом не тот, но он не далеко и очень похож. А дворик — тот

А дело было так. Родители отвели меня к бабушке, и я играл с соседскими детьми во дворе. Кто-то из детей сказал мне, что я маленький и даже не знаю дороги домой. Я обиделся:

— Как это я не знаю?! Вот сейчас нужно направо и потом...

Я говорил это и для убедительности шел. Минут через 15 был дома, где не очень удивились — думали, что меня привели. А через час к нам вбежала бабушка, седые волосы её стояли дыбом, она еле дышала, бежать пришлось в гору, а ей это было не по годам, да и как сказать, что пропал внук? А этот внук-паршивец уже и забыл, что ушел без спроса, спокойно ездил по двору на трехколесном велосипеде.

Вообще-то скучать родителям я не давал с детства. По их рассказам знаю, что в полугодовалом возрасте я, замотанный в пеленки, крутился на кровати, упал, закатился под кровать и там спокойно заснул. Нашли меня далеко не сразу. Про эмоции родителей, разыскивающих исчезнувшего младенца, мне не рассказали, но представить несложно. А где-то в годовалом (или чуть больше) возрасте я стоял в детской кровати с ограждением, видимо бегство под кровать повлияло, и звал родителей из соседней комнаты. Родители всё не шли. Тогда я сбросил подушку с кровати, причем не куда-нибудь, а на электроплитку, ею обогрелась комната, и очень обрадовался красивому яркому пламени. Тогда я с удовольствием бросил туда и одеяло. Ну что сказать, — родители пришли очень быстро.



Дед Соломон и бабушка Мария. Отец еще не родился. Это произойдет только через семь лет

Всего на моем счету три пожара, но все эти огненные приключения закончились в дошкольном возрасте.

А еще был такой случай — за какое-то прегрешение мне мама сказала:

— Всё! Хватит! Будешь спать у входа на половике!

Я, понимая, что это — такое решение, неприятное, но какое уж есть, и что нравится мне это или нет, но уж ничего не поделаться, пошел к входной двери и свернулся на половике калачиком. Как-то этот конфликт разрешился, а спустя сорок лет мне мама рассказывала, какая у неё была серьезная проблема: как вернуть меня в постель, не теряя лица. Как она вышла из этого затруднения, я не помню.

Вообще-то затруднения бывали всякие. Как-то раз, было мне лет 13, мама говорит:

— Что сидишь без дела, почитай что-нибудь.

— А что именно?

— Ну, хоть бы Лермонтова...

И даёт мне томик, открывшийся на поэме «Сашка». Я в ответ хихикнул. Спустя многие годы, проверяя карточки разысканий и поощрений матросов, я обнаружил там уникальное разыскание: «Выговор за ехидные подхихикивания». Мама выговор за ехидные подхихикивания мне объявлять не стала, а забрала томик и пошла в свою спальню. Как оказалось, она, в отличие от меня, эту поэму не читала. Назавтра она педагогично объясняла мне про то, что Лермонтов великий поэт, но нравы того времени, особенно в

гусарской среде... И так далее. А вот «Юнкерские поэмы», как оказалось, она читала. Когда я процитировал:

Друзья! вы помните, конечно,  
Наш Петергофский гошпиталь;  
И многим, знаю я, сердечно  
С ним расставаться было жаль.  
Там, антресоли занимая,  
Старушка дряхлая, слепая  
Жила с усастым ямщиком...  
Но дело вовсе не о том!  
Её служанка молодая  
Нескромной бойкостью слов,  
Огнем очей своих лазурных  
Пленила наших грозных, бурных,  
Неумолимых юнкеров.

...то она текст узнала сразу. А позже еще была сложность с книгой «Один день Ивана Денисовича». Мне дали её почитать, так как тогда это было почти обязательно. Великое произведение! А через два дня — разгромная статья в центральной прессе, и пришлось отвечать на мой неудобный вопрос, как это то, что вчера было великим, сегодня становится бесталанной клеветой, как это понять?

Сестра отца, тетя Люба тогда еще не вернулась с поселения в Воркуте, где отсидивал срок её муж, репрессированный за диспут с троцкистами. Что интересно — он с ними спорил, а не поддерживал, но кого это интересует, когда «щепки летят». Когда его, дядю Петю, арестовали, то она никуда не могла устроиться на работу. К примеру, в домоуправлении ей объяснили, что у них, в домоуправлении, есть секретные документы, а она — «член семьи изменника Родины» (ЧСИР, ст. 58-8 УК РСФСР 1926 года). И так далее. Чем кормить двоих детей — не объясняли. Так что, в семье от прямых разъяснений сути передовиц в «Правде» воздерживались, мало ли где и что будет потом болтать разговорчивый сын.

Но рассказы об этих «весёлых» временах всё же были. Дед был управдомом в доме на Кецховели, где они жили. Дом двухэтажный, все квартиры, как и положено, выходили во внутренний двор, а по внутреннему периметру дома шла галерея, из которой, собственно, и заходили в квартиры. И вот, с наступлением темноты, начинали тревожно прислушиваться, куда едет машина, у какого дома остановится — по вечерам иных машин не было, только воронки. Периодически к деду стучали, жестко, требовательно. От управдома требовали отвести их в такую-то квартиру. Так и жили — к тебе или сегодня пронесло? Для дяди Пети — «не пронесло», но вот чего я никогда не мог понять: как это его преданность «делу КПСС» в угольном забое не пострадала?



В бакинском дворе. 1948 год. Этот медвежонок и сейчас живет в моем кабинете. Правда, постарел, пообтерся, но от этого он не менее уважаемый член семьи. Не он один постарел

И у брата моего другого деда, Исаия, «не пронесло». В дореволюционные времена мой дед поссорился со своей Розой, осерчал и с братом уехал в Париж. Жил там, вроде, неплохо, участвовал в велогонках. А в конкурсе закройщиков получил даже, как победитель, приз — масштабный циркуль. Брат его в Париже женился. А всё это время бабушка Роза очень просила деда вернуться. Дед с братом засобирались, но французская жена отказалась наотрез. Ну что делать, наотрез, так наотрез, поехали пока без неё. Думали, что это временно, но потом возможности приехать к мужу у неё просто не стало. Однако наличие жены за границей предопределило его судьбу — в 37-м «перетёрли в лагерную пыль». О существовании этого брата, сгинувшего в ГУЛАГе, я узнал совсем недавно, но имя его так и не установил, уже некого было спрашивать. Вот так получилось, что стерли не только человека, но посеяли такой страх, что и имя его стёрлось. Страшный смысл произошедшего становится особенно понятен в музее Яд ва-Шем: «...дам ему вечное имя, которое не истребится» ([Ис.56:5](#)), но так получилось, что имя уже не восстановить...



Бабушка Роза. Примерно 1900 год

Когда начинаешь ворошить старое, то время от времени появляются, если не скелеты в шкафу, то какие-то удивительные истории. Вот дядя Пиня... Я его практически не знал, а запомнилось мне это имя по реплике, брошенной кем-то из родни:

— Надо же, засобирался в Израиль. Всю жизнь был Петр Львович, и вдруг проснулся и стал Пинхасом Лейбовичем.

А засобирался он в 70-х, как только приоткрылась узкая щель для выезда. Был он уже очень немолодым и совсем не здоровым человеком, его активно отговаривали, но он всё же уехал. Здесь, в Израиле, он прожил недолго — до 75 лет. Как писал Галич *«И не то чтобы с чем-то за-сорок, Ровно семьдесят - возраст смертный...»*. Те, кто не поехали, говорили:

— Вот! К чему эти подвиги...

А совсем недавно я узнал, что в молодые годы он со своим братом Давидом входил в организацию «Бейтар», и они решили нелегально перейти границу с Ираном, а уже оттуда — в Палестину. На границе их поймали, посадили, а спасло их, видимо, то, что власть в Закавказье еще не оформилась, Азербайджан, как самостоятельная республика, еще не существовал, а Закавказье еще предстояло как следует «осоветить», разделить и очистить от разных чуждых элементов. Вот они и попали в «междущарствие», а потому — уцелели... Дядя Пиня добрался до Израиля позже, чем хотел, но его внучка живет в Хайфе...

А иногда жизнь шла и в жанре фарса. Это произошло в 1945, когда отец еще в форме вернулся на костылях домой (протез сделали позже). Ему почему-то показалось, что матери не выдали положенного довольствия. Разбирательство у коменданта города, откуда он отправился напрямиком на гауптвахту, завершилось быстро — комендант почему-то не любил, когда его называли тыловой крысой. Вся многочисленная родня собралась под окнами, кто-то принес домашней еды подкормить несчастного, кто-то просто выразить сочувствие. Брат матери, дядя Гриша, решил вопрос просто: взял шесть бутылок водки, впрочем, вполне возможно, что это был и спирт, и пошел знакомиться с караулом. Караул рассудил так:

— Да забирай ты его, раз ты такой хороший человек...



История с бакинской гауптвахтой будет гораздо позже, это выпускник артиллерийской академии в Самарканде Иегуда Янкелевич 1943 год

И на этой оптимистической ноте, под рефрен — *ты меня уважаешь* — отец отправился домой.

Тем временем его старший брат, дядя Арон, который в то время заведовал всеми подводными работами на Каспии, попросил знакомого из НКВД выручить брата. Тот отправил наряд на гауптвахту:

— Где арестованный Янкелевич? Он нам нужен!

Но на гауптвахте только мирно дремал пьяный караул...

О возвращении отца домой, мама, спустя примерно шестьдесят лет рассказала такую историю. По её словам с фронта вернулся не тот мальчик, за которого она выходила замуж, но совсем другой человек. Мама не говорила — лучше-хуже, просто — другой. У неё даже появилась мысль о разводе, но, как выход, она решила, что ребенок всё исправит, вот я и появился...

Но вернемся в наш двор. Он был мирным и интернациональным. Жили там семья азербайджанцев, армян, русских, семья татов или, скорее всего, горских евреев. Вообще-то они не были похожи на евреев, то есть на нас, ашкеназов, больше походили на азербайджанцев.



1949 — в нашем дворе

С татами вообще была особая история. Так называли кавказских персов, выходцев из Ирана. Они говорили на своём языке, каком-то иранском наречии. Горские евреи тоже говорили на татском языке. Они, бесспорно, были евреями, просто их язык был не идиш, а татский, но многовековое кавказское проживание «окавказило» их облик. С начала 50-х в рамках борьбы “борьбы с религиозными и националистическими пережитками” и, естественно, как без этого, — с сионизмом, начали переоформлять горских евреев в таты. Но настоящим татам как-то не нравилось, что их стали путать с горскими евреями, и они переквалифицировались в азербайджанцев, и уже к 80-м, если в паспорте было написано «тат», то это означало — горский еврей...

В той семье татов было много детей, а двух младших близнецов звали Азим и Назим, различала их только мама. Пацаны были мелкие, похожие на воробьев зимой, а дружили они с такими же близнецами из соседнего двора, которых звали Шекспир и Шиллер. Сокращенно — Шипо и Шило.

Обычно вычурные имена давали своим детям армяне. Моя соседка по школьной парте была Алкида Бабаян. Что такое “Алкида”, скорее всего не знали даже её родители, но дело прояснилось, когда мы проходили по литературе «Войну и мир». Там есть такие строчки: «...Наполеон, познав чрез опыты, каков Багратион, не смеет утруждать алкидов русских боле...» и сноска, что Алкид, это на греческом означает “сын народа”. Для отца Алкиды это был бы большой сюрприз. А еще в трамвае можно было услышать: “Гамлет, ты там билет не брала, я тебе здесь билет брала”. В общем — “Красота — это страшная сила!”, но уж лучше “Шипо и Шило” чем Вилен или Стален.

Жили мы бесконфликтно. Я помню только один случай, когда на меня напали двое, мне было тогда лет 10, и причины были мне непонятны. Я их понял гораздо позже — странным образом соседские мальчишки-азербайджанцы так отреагировали на синайскую кампанию 56 года. Выручил меня тогда отец. Он, по-моему, ничего не боялся. То, что в том инциденте родителей-азербайджанцев было около десятка, его как-то не взволновало. С войны отец вернулся, потеряв правую ногу чуть ниже колена, но интересно, что прыгать на ходу с трамвая меня учил именно он. Мы жили на Четвертой параллельной (всего их было восемь — видимо кризис названий), а трамвай останавливался на первой, а потом аж на восьмой. Вот и спрыгивали на ходу. Я тянулся за отцом, но, к моему стыду, не дотягивал. Он крутил «солнце» на турнике, носился по сложному бакинскому рельефу на велосипеде, причем нога, оставшаяся в Венгрии, болела у него всегда, видимо как-то был задет нерв.





Мама. 1946 год. В этот год мама стала моей мамой

Многое осталось недоговоренным, уже тогда, когда было поздно, я написал [«Письмо отцу»](#). И хоть ему уже не суждено было прочитать, мне это помогло, стало как-то легче...

Вспомнилась сравнительно недавняя история. Восемь лет назад, еще туристом я приехал в Израиль на похороны матери. Еврейские похороны — это очень щадящая церемония, бережно относящаяся к родственникам. Отсидели шиву, я должен был улетать в Россию. И вдруг, в аэропорту Бен Гурион, мне стало плохо: в горле ком, дышать не могу, в общем — накатило. Там, в небольшом закутке, сидел старый хасид. Я подошел к нему, он выглядел очень располагающе, пожаловался, что вот плохо... Хасид сначала предложил мне стаканчик кофе, потом мы посидели, поговорили, и он спрашивает:

— Ты сегодня Кадиш читал?

— Как я мог? Я же рано из дома, да и где я возьму миньян?

— Подожди!

Он пробежался по залу и через несколько минут собрал миньян. Люди пришли очень разные, в большинстве светские, внешне — и сефарды и ашкеназы. Я читал: *«Итгадаль ве-иткадаш шмей раба...»*. Кончили читать, сказали — *«Амен»*, — все разошлись по своим делам, а я сидел со стариком и с удивлением чувствовал, как ушло напряжение, как разжало сердце... Кадиш причина или нет, но это было так...

Но я слишком далеко ушел от бакинского дворика. Воду в дом провели примерно в году 54-м. У ворот появился кран, и воду стали брать там. А до этого нужно было ходить за водой в соседний дом и покупать воду там по одной копейке ведро. Если бабушка давала две копейки, то нужно было принести одну копейку сдачи. А ведра были такие тяжелые, я

старался расплескать, чтобы было легче, а то, что потом из-за этого придется раньше идти за водой, так это же будет потом, а ведра я тащу сейчас.

И за керосином нужно было идти. Им топили чудо техники под названием керогаз, к которому запрещалось подходить, чтобы не сгорел весь дом. Помнится из детства:

— Рафик, иди кофе пить!!!

— Мама, где кофе?

— Слушай, когда мы кофе пили? Это я для соседей. Бери бидон, иди за керосином!!!

А где-то в 53-54 году у соседей Петровых появился первый телевизор. Передачи шли два раза в неделю по вечерам, в субботу и воскресенье. Телевизор выносили во двор и все со своими стульями шли смотреть, причем, смотрели абсолютно всё, с самого начала и до конца. Видимо увлекал сам процесс. И примерно в это же время стали появляться холодильники «Саратов-2». Для более обеспеченной публики был "ЗИС-Москва", но мы были менее обеспеченными. А до появления «Саратова» масло хранили в кастрюле с водой. Для моих детей — это такая же древность, как и крестовые походы.

Но в этой «древности» было много интересного. Мой дед Исай был заготовщиком, то есть он шил верх обуви. Он любил говорить, что нога так же индивидуальна, как лицо, и он шил обувь именно на эту конкретную ногу. Кстати, у меня сохранились мои первые кожаные туфельки, которые он сшил, когда мне исполнилось полгода. Я их больше жевал, чем использовал по назначению, наверно потому они так хорошо сохранились. В доме были колодки для обуви, сделанные из красивого красного и очень прочного дерева, много замысловатого инструмента, всевозможные кожи, ремешки и многое другое, но в памяти сохранилась картинка — дед шьет что-то, а бабушка через приоткрытую дверь смотрит во двор.

Дело в том, что дед иногда брал частные заказы, и когда он шил на своей машинке «Зингер», бабушка нужно было смотреть, не идет ли по двору фининспектор или вообще какой-нибудь милиционер — это была незаконная предпринимательская деятельность. Деду как-то не хотелось иметь контакты с властями по этому поводу. Он мог иметь учеников, передавать им знания и умение, но в тогдашней России это было не нужно. А потому сейчас, если захочется сшить обувь на свою ногу, придется ехать в Англию или в Китай.

В начале двадцатых у деда была своя сапожная мастерская в Симферополе. Кто он был, нэпман или «частник с мотором», я не знаю, но дела у него шли хорошо, пока однажды вечером к нему не зашел приятель и не сообщил, что НЭП кончился, что было не ново, и что «завтра к тебе придут, готовься». Вот это было ново. Но когда пришли, то деда в Крыму уже не было, начался новый период жизни — в бакинском двореике. Не Париж, конечно...

На память о тех временах осталась старинная золотая цепочка, на которой дед носил свой брегет, а сейчас эту цепочку носит моя жена.

В наш дворик периодически заходили старьевщики и громко кричали:

— Старый ве-е-е-щ покупа-а-а-м!!!

Приходили точильщики. У них на плече был станок с большим количеством наждачных кругов. Круги вращались ножным приводом, от ножей летели искры... Как нам хотелось попробовать так же лихо точить ножи, но была еще более увлекательная профессия — кирщик.

Кир — это такая смесь загустевшей нефти или асфальта с песком, которым заливали плоские бакинские крыши для гидроизоляции. Возле дома ставили огромные баки, под которыми горел костер (уже интересно), а в баках кипел, пузырился и булькал этот кир. Один рабочий был на крыше, а второй зачерпывал ведро кипящего кира и с помощью блока отправлял его наверх, на крышу. Они, эти рабочие, были чумазые, все прокопченные, просмоленные, такие шикарно грязные, что притягивали нас, как магнитом. И, естественно, нам к ним не разрешалось подходить и близко — потом отмыть бы нас не удалось, пришлось бы рожать новых. Я сидел на подоконнике и смотрел на этих чумазых и таких лихих кирщиков и очень завидовал. На вопрос — Кем ты хочешь быть? — гордо отвечал: — Кирщиком!!!

Но у родителей были другие планы. В нашем еврейском районе плотность музыкантов была очень высока, и все они частным порядком учили музыке, кто скрипке, кто пианино. Вот трубы — точно не помню. А я рос очень кудрявым, по маминому представлению — Ну вылитый скрипач!

Вот мама и отвела меня к преподавателю. Тот сыграл мне что-то и попросил:

— Мальчик повтори, спой.

Я спел. Утверждать не могу, но семейное предание говорит, что скрипач поседел. Он сказал:

— Мамаша, оставьте ребенка в покое, он не музыкант и никогда им не будет!

А моей младшей сестре повезло меньше, она спела правильно и лет шесть с отвращением барабанила что-то на пианино. В 13 лет она твердо сказала — Всё, хватит! — и больше никогда к инструменту не подошла.



Вылитый скрипач, еще и слух бы...

В нашем дворе жил еще один таинственный человек. Его звали Семён. Он никогда не выходил во двор, но всегда смотрел из окна на нас и молчал. Окно было какое-то темное, лицо его было плохо видно, было в нём что-то непонятное, страшноватое. Мы держались от этого окна подальше. Сейчас эта история мне более понятна. Семён во время войны попал в плен, а из плена прямо в ГУЛАГ. И если из плена он вернулся более-менее целым, то из сталинского лагеря он был отправлен домой без обеих ног. Сактирован, как тогда говорили, то есть отпущен по акту о непригодности к исправительному труду. Но «лучший друг физкультурников» еще правил, вот взрослых и держал от Семёна подальше инстинкт самосохранения.

Семён запомнился еще и потому, что к нему, в отличие от всех остальных, так запросто не заходили. Двери во дворе были, что называется, открытыми. Совершенно спокойно соседка могла войти и спросить:

— Что это ты готовишь? Ты уверена, что это кисло-сладкое мясо? Ты в самом деле так думаешь?

А потом, попробовав, сказать, что *«в принципе неплохо, лучше, чем у Маруси, но хуже чем на бармицве у Додика»*.

Вот и приходилось хозяйкам хорошо готовить и стремиться превзойти бармицву Додика. Все двери были открыты, только не у Семёна...

А потом в 53-м я задал маме вопрос:

— Как же мы будем жить, ведь Сталин умер!!!

Мама сказала, что ничего, проживем. Воспитательница в детском саду, Панна Михайловна плакала, да и вообще плакали многие, но вот через три года, в 56 году,

реакция была горячее. К родителям прибежала крайне возбужденная жена маминого брата Адель (сейчас она живет в Яффо) и стала рассказывать о разоблачении культа личности. Я бы наверно, не обратил бы на это внимания, мал еще был, но у неё были такие вытаращенные глаза, примерно вдвое больше нормального размера, так необычен был перехлест эмоций, что я не мог этого не заметить.

Но это было позже. А пока, в 53 году, на меня надели гимнастерку, фуражку, которую я ненавидел, ремень с бляхой, и я углубился в науки. Первой моей отметкой в школе была двойка. Мы тогда писали перьевыми ручками с пером №11, стеклянные чернильницы-непроливайки приносили с собой в специальных мешочках. Их было очень интересно с размаху хлопнуть об стенку по дороге домой. Получался такой взрыв, красивое пятно на стене, а дома можно было объяснить про то, как поскользнулся, споткнулся или еще что-то, что могло прийти в голову... Позже мы приносили в школу карбид, который на перемене кидали в чернильницы. Чернила начинали кипеть, писать было уже не возможно — скандал и полное блаженство!.. Попытки узнать, чья это работа через отличников или родительский комитет были бесполезны. Далее мы в этом направлении совершенствовались: тут и натирание доски воском, и (просто высший пилотаж при занятиях в третью смену, были и такие занятия) выкрутить лампочку и внутрь патрона вложить мокрую промокашку. Пока она была еще влажная, всё было хорошо, но бумага постепенно высыхала, и свет медленно тускнел, тускнел, а потом и вовсе отключался...

А как я ненавидел галоши... Почти шекспировской страстью. *«Лошадь купила четыре калоши. Пару хороших, а пару поплоче...»* Мама четырьмя калошами отделаться не могла, я терял их регулярно, но всегда только одну. А пожилым азербайджанкам галоши нравились. Они в них лихо щеголяли, одевая на босу ногу.

Как-то примерно году так в восьмидесятом, мы с женой были в Баку. У соседнего дома сидела на кошке азербайджанка в галошах и стегала шерсть. Это был такой процесс — шерсть лежала перед ней на кошке, длинным прутом она ударяла по шерсти и, подняв то, что зацепилось, стряхивала. Комки шерсти так понемногу распадались. Вдруг она обратилась к нам на русском, и оказалось, что она с Украины. А получилось это так — она вышла замуж за азербайджанца — солдата, когда тот служил срочную на Украине.

В то время в СССР был принят экстерриториальный принцип формирования войск. То есть азербайджанцы в Азербайджане не служили. Объяснений этому множество, но мне кажется более верным то, что в ситуациях, аналогичных Новочеркасскому расстрелу, у солдат не оказалось бы родственников в разгоняемой толпе. Молодые азербайджанские парни просто теряли голову от украинских красавиц, но дома с молодой женой начиналась правда жизни. Жена никак не могла понять, почему её муж хочет отправиться с друзьями в шашлычную без неё. Тут пересекались два мира, Закавказье и советская глубинка.

Я помню рассказ, как соседка принимала новых родственников. Примерно полчаса она описывала, какой был накрыт стол, какие были блюда азербайджанской и армянской кухни, короче — как гостей принимали, а потом, как поехали на родину невестки. Стол был тоже богатый — видов тридцать самогона, вареная картошка и селедка. Ну, может и

не совсем так, но смысл такой. Уцелеть брак мог лишь при одном условии, если молодая жена становилась азербайджанкой по образу жизни, мышлению, языку, одежде... Вот такую «новую азербайджанку» мы и встретили, и на ногах у неё были красивые новые галоши...

Так вот про первую оценку — первую двойку. Нужно было что-то красиво писать в тетради, причем особо подчеркивалось — «С нажимом!» Я и старался изо всех сил, нажимал, раз сказано, но перестарался. Нина Васильевна написала — «Грязь», и поставила жирную двойку. Это был шок. Я же шел в школу хорошо учиться, быть отличником, как это я приду домой с двойкой?! Потому она мне и запомнилась. А Нина Васильевна запомнилась линейкой, с которой она ходила между рядами и периодически била по рукам. Кстати, достаточно болезненно, но тогда с «правами ребенка» было попроще, не так, как сегодня.

А сегодня, уже здесь в Израиле, в семье одного моего родственника был трудный сын, лет, помнится, девяти-десяти. Настолько трудный и малоуправляемый, что его перевели в школу для проблемных детей, в город километрах в десяти от Натани. Мальцу там не понравилось, он перемахнул через забор и пошел пешком домой. В школе его хватились, начали искать, сообщили в полицию, родители организовывали родственников на машинах для поисков, полиция подняла тревогу, создали поисковой штаб... Всё бесполезно... Ближе к ночи беглец добрал домой. Взбешенный отец дал ему затрещину, а сын тут же вызвал полицию... Нервный отец провел в тюрьме три месяца. Это, конечно, не 10 лет без права переписки, но достаточно чувствительно...

Во втором классе нас объединили с девочками, и мы сразу начали влюбляться. Мой первый объект обожания звался Света Рубизова, но её родители переехали и любовь рухнула. Потом мальчишечьи дела закрутили, девочки отошли на второй план, и возникли снова уже в классе седьмом-восьмом. Интересно, что внук (ему четыре года) на вопрос, кто тебе нравится в детском саду, таинственно улыбается и с придыханием говорит — Дана. Я за собой такого не помню, только с первого класса. Акселерация...

Антисемитизма в школе я не помню, скорее всего — его не было. Было другое, вот что. По истории мы проходили много всего, но евреи в истории отсутствовали. Скифы были, сарматы, египтяне, римляне и так далее... были, а евреев — нет, не было. История любит героев. Вот Суворов с героическими русскими солдатами перешел через Альпы, а вот римляне героически разгромили варваров, но мы — евреи, где наш след? И потом, на уроках литературы оказывалось, что нас опять нет... А так хотелось прислониться к великому прошлому...

Да, была еще одна мерзкая процедура. В начале учебного года заполняли классный журнал. Там, в конце журнала, кажется на последней странице, был список учеников по национальному составу. Заполнение выглядело так. Учительница говорила — Русские встаньте... — и русские вставали. Она опрашивала их фамилии и записывала в журнал национальность. Таким образом всё и шло. В конце звучало — Прочие. Евреи вставали, но как-то не хотелось быть «прочим». Может именно тогда и закрадывалось стремление

«стать русским»? У меня оно не появилось, но я знаю многих, прошедших «смену вех», как им тогда казалось, весьма успешно.

Позже эта успешность становилась сомнительной. После 2000 года мне было поручено собрать группу еврейской молодежи на бесплатную образовательную поездку в Израиль по программе «Таглит». Приходит ко мне пожилой человек и просит записать на программу внуку, а на вопрос о документах, подтверждающих еврейство, говорит, что время было такое, вот он и записался русским. Кроме того, при регистрации брака взял фамилию жены. Когда я ответил, что без документов я ничем помочь не могу, он стал плакать, а как выглядит плачущий старик, это описать невозможно. Я сказал ему:

— Хорошо, пусть придет внучка, я посмотрю, что можно сделать.

Но внучка не пришла...

В школьные годы на Йом Кипур я ходил в синагогу к раввину получать разрешение для бабушки не поститься. Кипы в доме не было, мы с братом брали носовые платки и на всех четырех углах завязывали узелки, то, что получалось, и было кипозаменителем. Раввин разрешение давал всегда, но что это за Йом Кипур, я узнал только через 33 года. На Песах перед бакинской синагогой собиралась толпа — это была очередь за мацой. Домой приносили большие коробки на всю неделю, но уманташи в Пурим мне нравились больше.

А еще на каникулах, когда мне не с кем было остаться дома, я ходил с мамой, детским участковым врачом, на вызовы. Запомнился один случай. В квартире, куда мы пришли, лежала больная девочка с высокой температурой. Дома кроме неё никого не было. Развитый социализм еще не строили, но *«жила бы страна родная, и нету других забот»* было главным, вот её родители и ушли на работу. Мама сделала, что нужно, выписала лекарства и собралась ухаживать. Вдруг девочка начала с трудом вставать.

— Ты куда?

— Если мама узнает, что когда Вы у нас были, я Вам даже чаю не налила, да она меня просто прибьет...

Еле уложили её обратно в кровать.

А спустя много лет я сидел возле больной мамы в больнице «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Мама лежала там после операции и плохо себя чувствовала. Вдруг из-за стены раздался вопль. Орал какой-то мужчина. Я вышел посмотреть, что случилось. У дверей соседней палаты собралась небольшая толпа — очень уж громко кричал. В палате лежал мужчина, и у нас произошла такая беседа:

— Что кричишь?

— Мне холодно!!!

— Так укройся, вот же одеяло лежит.

— Я тебя не звал советовать!

И он опять начал орать. Люди стали возмущаться, он же беспокоил больных. Но когда я сказал, что его нужно депортировать назад в Россию, то как-то странно посмотрели на меня и сказали:

— Нельзя же так, человек же всё-таки!!!

Вот такой менталитет. Вообще-то с ментальными особенностями мы сталкивались постоянно. В 70-е годы в России врачи еще лечили за зарплату, но Баку в медицине опередил время: там установились своеобразные отношения врача и пациента, утвердилось представление, что лечиться даром просто невозможно. Моей дочери должны были удалить гланды, её с женой положили в больницу в отделение, где заведующей была одноклассница моей мамы по мединституту. В палате детского отделения больницы Семашко примерно на 10-12 коек, возле всех детей сидели мамы и вели беседу:

— Ты сколько дала?

— Столько-то, а ты?

— А я больше, столько-то. А ты?

И так далее, по кругу, пока не дошло до моей жены. Та говорит, что нисколько не давала. В палате — немая сцена, а затем общий вердикт:

— Какая же ты мать, если на здоровье собственного ребенка экономишь?..

Где-то очень далеко наш старый Баку. Лёня живет в Германии, Люда — в Сан-Франциско, я — в Нетании, Зямик — в Ашдоде...

Интересно, как я его нашел. Я гостил у брата в Нью-Йорке. Пришел кто-то незнакомый и спрашивает:

— Я слышал, ты отсюда летишь в Израиль?

— Да.

— Брось, пожалуйста, в Израиле письмо в ящик, быстрее дойдет.

Когда я увидел, кому адресовано это письмо, то спросил:

— Этот парень из Баку?

— Конечно.



— Он такой (я описал Зямика)?

— Да, это он!

— Так я с ним в одном классе учился!

Письмо я не стал отправлять, а явился с ним сам. Это было здорово...

Но многих просто не удаётся найти. А родители выросли и жили в одном городе, у них собирались школьные и фронтовые друзья, вместе встречали праздники. А потом жизнь разбросала и их...

Не так давно в Нью-Йорке не стало большого друга моих родителей — Леонида Мерлинского. Я еще помню его отца, чем-то похожего на профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце». Когда он садился обедать, то стол, накрытый белоснежной скатертью, был сервирован старинным фарфором и серебряными приборами. Клеёнки он не признавал. С красивой бородой, в костюме-тройке, он казался существом из другого мира, а другой мир еще жил в памяти родителей, дедушек и бабушек, еще не ушел окончательно.

О жене Леонида Мерлинского, которую я называл тетя Дита, мне напоминает в Натании улица «Усышкин». Она была родственницей лидера еврейского ишува Менахема Усышкина, но когда тот решил переехать в подмандатную Палестину, её родители не поехали, остались в Москве, где она стала врачом-психиатром, и не просто врачом, а личным врачом сына Льва Мехлиса, того самого, большого специалиста в поиске и разоблачении «врагов и вредителей». Сын Мехлиса был болен, какая-то психическая болезнь... Всё прекратилось в один миг — когда начало раскручиваться дело «врачей вредителей». Она быстро уехала из Москвы и в Баку превратилась из Усышкиной в Мерлинскую. Компьютеров тогда еще не было, и это ей помогло. А там наступил и Пурим 53-го года, стало не до неё...

В начале 60-х Хрущев ввел в школах 11-летку с производственным обучением и взял курс на химизацию. Конечно, Никита Сергеевич не имел таких планов, но он перевернул мою жизнь. Родители, учитывая мою склонность к электро-электронным конструкциям, отправили меня в школу, где это производственное обучение шло на “заводе телеаппаратуры и приборов автоматики”. Я познакомился с деятельностью начальника цеха, должностью, до которой еще нужно дорасти, и пришел в ужас. Этот был идиотский симбиоз снабженца-завхоза с тем, что в армии называлось «старший, куда пошлют». На меня это произвело настолько кошмарное впечатление, что я отказался поступать в Политех. Не туда, а куда?

Критерии были следующие — в институт в центре (Москва, Ленинград) с электронным профилем без вступительного экзамена по химии, с которой у меня были своеобразные отношения. Я никак не мог понять, как это элемент то двухвалентный, то трёх, а как понять, когда он какой? Зубрежка вызывала аллергию, вот и пришлось искать ВУЗ без экзамена по химии. Таким ВУЗом оказалось лишь высшее военно-морское училище

радиоэлектроники им. А.С. Попова... Вот так повлияло наблюдение за деятельностью “как бы инженера” плюс химизация всей страны.

Наставало время расставаться с Баку. Как невероятно красив был Баку нашей молодости. Говорят, что сейчас он стал намного краше, но меня это не убеждает, это уже другой Баку, много потерявший, изменившийся, растерявший своих детей, армян, евреев, русских... Но он жив, старый Баку. Пожелаем ему счастья...